Продолжение. Начало в № 12 за 2016 год, в № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 за 2017 год

Рисунки Марины Медведевой

XXXII

В Великую субботу прилетели вестники радости: вечером, после поверки, стражник принес мне в камеру кулич, пасху и десяток красных и зеленых яиц.

— Вот вам... разговеться!..

— От кого? Постой, скажи, от кого...

Ушел. Я стал рассматривать пасхальные приношения, и сердце запрыгало от радости:

— Мама!.. Вижу по куличу, что мама... Приехала милая старушка... Да, конечно, она: узоры на куличе — наши, семейные, такие памятные... Ах, милая старушка, как я рад, что увижу тебя, родная! Как я люблю тебя, раньше я этого не чувствовал, а вот теперь...

Я понюхал кулич и еще более убеждался, что от него пахнет нашим старым домом. Милый кулич, словно молчаливый друг, ты с любовью и лаской смотришь на меня со стола и говоришь мне:

— Христос воскресе, Геня!

А яйца красили тетки. Вот эти старшая тетка, а эти красные — младшая. Смешные тетки! За что я их не любил? В сущности, они очень милые старые девы, меня любят по-своему, берегут мою нравственность, как они сумели сберечь свою собственную. Это смешно, но надо уметь понять и простить. Говорят, младшая была очень недурна, имела несколько женихов, но как только жених заговаривал о любви и делал попытки поласкаться с невестой, так она оскорблялась, рыдала и гнала вон жениха.

— Он нахал, развратник! — кричала она из запертой комнаты, и роман обрывался на самом интересном месте.

Эту тетку до сих пор называют в уезде невестой неневестною...

— Ах вы тетки, старые лебедки!.. Ей-богу, и вас я люблю...

Теперь на моем столе кусочек нашего дома, кусок нашего пасхального стола. Что же, и то хорошо. У меня все по кусочкам: кусок неба, кусок воздуха, кусок свободы, кусок стола, кусок Пасхи Христовой. Раньше был, вот здесь, в каменной стене, кусок Зои... Теперь его — нет... Всколыхнулось радостью сердце: может быть, мама достала три тысячи и возьмет меня на поруки?.. Свобода, свобода! Только в неволе начинаешь понимать, какое это огромное счастье распоряжаться своим телом: куда захочешь — иди, на что хочешь — гляди, что хочешь — слушай, а чего не хочешь — не слушай, на кого хочешь — гляди, а на кого не хочешь — не гляди... Куда я пойду? К Зое! На кого буду глядеть? На Зою! Что я буду слушать? Голос Зои! На кого смотреть? На Зою, на Зою!.. Первым делом женюсь на Зое. Как это устроится, я еще не знаю, но это должно быть и будет. Наверно, мама привезла мне весточку о Зое и о том, как все это должно устроиться...

— Тетки, вы уже, наверно, оплакали мою нравственность!..

Кто-то идет. Не ко мне ли?.. Бренчат ключи, гремит железный засов.

— К заутрене пойдете?

— Как же, как же!.. Обязательно!.. Всенепременно!.. Неукоснительно!.. Постойте!

— Что вам?

— А Христос-то воскреснет...

— Ну и слава Богу!

— Что взяли?

— Чай, не мы Его распинали?..

— Вы, вы, вы!..

Ушел. Тихо. Удивительно тихо. Опять притаилась ночь, напряженно молчит земля и ждет чего-то в торжественном молчании своем... Притих город. Тоже ждет чего-то. И притихла тюрьма. Надо готовиться к заутрене: умываться, надеть все чистое, причесаться, вообще принять необычный вид. Хочется быть чистым и красивым...

— Пожалуйте в церковь!..

Быстрым шагом спешим в церковь. Промелькнула темно-синяя ночь, с трепещущими в высоте звездами, обдало приятной весенней прохладой, и потянулся полутемный коридор, которым проводят политических к Богу. Опять в клетке, опять позади — стражник с шашкой. Но пред глазами — кусок ярко освещенной церкви, паникадило с зажженными свечами, верхушка иконостаса. В церкви тихо, напряженно тихо. Даже не звенят кандалы. Только шепот, вздохи и какие-то шорохи...

— Бум-у-ум! — ударил гулкий басовой колокол в городском соборе, и задрожал воздух, и мигнули огни восковых свеч.

Следом за этим гулким мощным ударом загудели колокола во всех городских церквах, и тоненьким голоском ответила им наша тюремная церковь... Загудела земля от колоколов, и тревожно задрожала душа... Разом загремели арестанты кандалами, стражники — оружием, духовенство — кадилами, новыми праздничными ризами. Закачались перед глазами верхушки хоругвей... Пошли встречать Христа. Пошли только избранные: поп, дьякон, дьячок, смотритель и его помощник, надзиратели, хор певчих. А мы остались ждать. С нами, арестантами, остались и стражники. Несколько минут тишины, нарушаемой сдержанным покашливанием, а потом — глухое пение за каменными стенами: «Воскресение Твое, Христе Спасе...» Но вот растворились двери тюремной церкви, и ворвался радостный, победный хор молодых голосов:

— Во-скре-се-ние Т-во-е, Христе Спа-се, а-н-ге-ли по-ют на небеси...

Зашумела, загремела вся церковь. Сотня арестантских надорванных голосов подхватила эту торжественную песнь, возвестившую Христово Воскресение, и теплые слезы полились из моих глаз... Дрожала душа от неведомой радости и огромной скорби, от любви к людям и от ненависти к ним за то, что они сами распинают друг друга, и не было сил спрятать эти слезы... Запели «Христос воскресе», я прижался к стенке своей клетки и расплакался. Кто-то тихо дотронулся до моего плеча и сказал:

— Христос воскресе, барин!

Обернулся — стражник с доброй улыбкой на грубом солдатском лице.

— Воистину воскресе!..

Вытер слезы и крепко поцеловал стражника три раза. А он вздохнул и прошептал:

— Мамашу, видно, вспомнил... Господь страдал и нам велел терпеть...

— Нет, Господь нам не велел мучить друг друга...

— А ты тише!.. Нельзя... Молча молись, Господь все понимает...

— Друг друга обымем, и ненавидящие нас простим все Воскресением!..

Молятся арестанты, громыхая кандалами, и на восклицания священника «Христос воскресе» дружно, торопливо и радостно гудят разбитыми голосами:

— Воистину воскресе, батюшка!..

— Приложиться бы к кресту надо... — шепчет стражник.

— Иди, не бойся: не убегу.

— Кабы надзиратель не заметил. Нельзя нам...

— Иди!..

— Ну, смотри... Грех будет...

— Не беспокойся...

— Убежать некуда, ворота заперты, а неприятностей много будет...

— Вот видишь!..

Я перекрестился, и стражник спокойно пошел прикладываться.

Вернувшись от заутрени, я уселся к своему пасхальному столу и начал разговляться куличом и пасхой. Чем-то родным пахло от стола и от кулича с пасхой. Чудилось, что со мной невидимо сидят за столом мама, покойный папа, брат, тетки...

— Ну, милые, Христос воскресе! — говорил я и нюхал кулич.

— Зоя, моя светлая чистая невеста, Христос воскресе!..

И, отыскав на холодной стене то место, в которое я бил карандашом, перестукиваясь с Зоей, я трижды поцеловал камень...

— Тук-тук, тук-тук!..

Что такое? Кажется, зовет кто-то... Или послышалось... Нет:

— Тук-тук, тук-тук!

Прижал ухо к стене. Да, несомненно — стучат, но не меня: это очень далеко. Кто б это мог быть? Ага, кто-то еще дальше отзывается. Слушаю:

— Х-р-и-с-в-о-с-к-р.

— Н-е-в-е-р-ю.

Кто-то не верит. А вот я верю, верю, верю!.. Я встал посреди камеры и громко запел:

— Христос воскресе из мертвых...

— Прекратите! Нельзя...

— Смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!..

— А вы потише!.. Нехорошо.

— Славить Христово Воскресение нехорошо?

— Бог с вами, только потише...

— Христос воскресе!

— Да, воистину, только тише надо. Неравно смотритель пойдет...

— Скажи, много сидит наших?

— Есть еще.

— А Николай Иваныч сидит?

— Его увезли куда-то. Нельзя... Спите!.. Молчу. Бог с вами!

Не спится. Тоска и радость безостановочно волнуют душу. Синяя весенняя ночь беспокоит смутными воспоминаниями и радостными предчувствиями. Все хочется смотреть в форточку на небо, на звезды и прислушиваться к тайнам земли и неба...

Так и заснул я, сидя за столом и положив голову на руки. И видел странный сон: будто бы со звездных небес прилетел белый голубь и бьется крыльями в закрытое железной решеткой окно моей камеры; а позади его, то подлетая близко, то отлетая, ныряет в воздухе темный коршун; я раскрыл форточку и маню в нее белого голубя, а голубь боится и не влетает...

Когда я проснулся, гулко и радостно трезвонили колокола городских церквей, гремели по мостовым извозчичьи пролетки и яркий солнечный день сиял светлой радостью над землею...

— Пасха! Пасха!.. Зоя!.. Мама!.. Христос воскресе, милые!.. Сон... Я видел удивительный сон... Белый голубь!.. Вот здесь, за решеткой, бился белый голубь... Зоя, Зоя, может быть, это ты прилетала ко мне в пасхальную ночь, обернувшись белым голубем?!.

— Пожалуйте на свидание!

— Христос воскресе!

— Воистину!

— Кто пришел?

— Неизвестно.

— Мужчина или женщина?

— Неизвестно.

— Среднего рода, должно быть...

Тороплюсь, опять не найду шапки. Пора бы шляпу с широкими полями, летнее пальто нараспашку, а тут ходи в шубе. Шуба стала тяжелой, ненужной: зимой чувствовал к ней благодарность, а теперь — ненависть. Не надо калош! К черту! Надоели. Идем, идем!..

— Где свидание?

— В конторе. Сегодня разрешено вам без решетки...

— Слава Богу, а то лица человеческого не признаешь... Ротмистр будет?

— Помощник смотрителя.

— Трезвый?

— Маленько выпимши... Без этого нельзя. А, между прочим, без разговору!..

Так и бегут ноги, подплясывая под колокольный трезвон многочисленных городских церквей. Кажется, что колокола выбивают «барыню». Вот и контора. Захватило дух. Страшно как-то войти...

Пожалуйте!..

— Мама!

— Геня!

— Христос воскресе!..

Обнялись и застыли. Плачет бедная старушка от радости и горя; ее горячие слезки жгут мою щеку, а худая, костлявая рука, трясясь и прыгая на моем плече, судорожно цепляется за одежду...

— Перестань! Не плачь, не надо унижаться... — шепчу я дрожащими губами, а у самого тоже прыгают из глаз слезы...

А колокола радостно трезвонят, и гул стоит в ушах от этой колокольной музыки. Помощник смотрителя отвернулся, потихоньку смахнул перчаткой слезу и стал сердито откашливать.

— Насморк получил, — говорит он в пространство и сморкается.

— Кулич получил? Пасха понравилась?

— Да, да, мама, все очень понравилось. А вот ты совсем постарела.

— Я сильно хворала. Думала, не встану и не увижу больше тебя... Ах, ты!..

Опять обняла, целует и что-то шепчет...

— Мама, расскажи, что на воле!..

— Погоди!.. Дайте воды!.. Нет ли воды...

— Дайте воды! — строго крикнул помощник смотрителя.

Мама напилась воды.

— Натворил ты бед...

— Каких, мама, бед?.. Ты меня пугаешь...

— Да теперь уж ничего, а было время... Эх вы, ребятишки!..

— Рассказывай же! Не мучай, ради Бога!..

Мама покачала головой и начала рассказывать: приезжал из Симбирской губернии помещик, отец «этой особы»...

— Моей невесты, мама, невесты!

— Ну да, невесты...

— Ну, ну!.. Скорей же, не мучай!

— Сейчас, сейчас... У меня часто боли вот здесь. Говорят, камни в печени... Ох! Прошло...

— Она здорова? да?..

— Теперь поправляется, а было время, думали — не выживет...

— Что такое? Ради Бога!..

— Приезжал отец и рассказывал, что его дочка требует, чтобы ты женился на ней.

— Ах, мама! Вы или ничего не поняли, или не хотите понять... Я люблю ее и мы давно решили с ней повенчаться. Она требует не от меня, а...

— Ну да... Отец не хотел, а теперь приехал и сам просит, умоляет...

Ужасные новости рассказывает мать: Зоя, моя милая белая голубка, была на краю могилы: она выпила целую коробку порошков морфия, и два дня ее отнимали у смерти, мешая всеми средствами ее сну, готовому каждую минуту перейти в сон вечности. Оставила какую-то записку — мама не знает, — но теперь отец приедет в Казань и будет хлопотать, чтобы нам разрешили обвенчаться...

— Зоя... Ах, какая ты... Но она теперь здорова?

— Да, а потом еще отняли у нее револьвер...

Я ходил взад и вперед по конторе и, хватаясь за голову, напряженно думал о том, как сделать, чтобы сохранить белую голубку от возможного повторения такой непоправимой ошибки.

— Мама, если ты меня любишь, я прошу тебя немедленно поехать к ним в имение и поберечь Зою. Знай, что если она... умрет, я — тоже...

— Да теперь уж не умрет.

— Почему ты так уверена?

— Отец скоро привезет ее сюда.

— Зою? Сюда!

— Да. Она требует.

— Молодец!.. Ах, какая она...

Я ходил и смеялся от радости.

— А ты посиди около меня... Все ходишь... Эх, ты!.. Смутил девушку... Молод еще. Ну, да уж если дело так вышло, твой долг...

— Какой долг?.. Не долг, а мое счастье, моя радость, моя жизнь!.. Ты, мама, ничего не понимаешь... Или не желаешь понимать.

— Во всяком случае тебе надо сперва выйти из тюрьмы, почиститься, пообшиться... Вон какие волосы отрастил. Неужели вас здесь никогда не стригут...

И смешно, и досадно; хочется наговорить матери дерзостей и хочется обнять, поцеловать и сказать:

— Милая, старенькая, седенькая мамочка, перестань ты, пожалуйста, говорить благоразумные глупости!..

— Мы обвенчаемся здесь, в тюрьме.

— Вот так радость!.. Ну а потом?

— Потом... Потом я буду досиживать, а она...

— Досиживать?.. Медовый месяц ты будешь досиживать... в тюрьме!..

— У нас, мама, никаких медовых не будет... Глупости! Мещанство!..

— Вот послушайте, господин смотритель, как нынче рассуждают...

— Ммм... да. Их дело...

— У нас всю жизнь будет медовый месяц...

— Ах, Бог с вами!.. Не поймешь вас...

— А дожидаться, когда ты добудешь денег и возьмешь на поруки... Слуга покорный...

— Бог даст, это выйдет скоро... Надеюсь после Фоминой выкупить тебя, озорник... Муж!.. Ну какой ты муж?! Смешно смотреть...

— Ну, мама, не забывай, что мы здесь не одни... Нас слушают...

— Я не слушаю, — пробасил помощник смотрителя.

— Не слушаете, а реплику подаете очень быстро и кстати...

— Не спорь, Геня!..

— А ты, мама, все-таки привези мне летнюю пару, пальто, новую шляпу с большими полями... И еще духов! Ландыша...

— Эх, жених...

— Ну, будет, мама, острить, а то рассержусь...

— Да дай Бог!.. Она, видно, из хорошей семьи... У них, говорят, больше шестисот десятин земли в Симбирской губернии...

— Ах, мама, уши вянут... Черт с ними, с десятинами!..

— Свидание кончилось...

— Позвольте, господин смотритель, по случаю Пасхи-то побыть мне подольше!

— Не могу. Не один ваш сынок у нас. Другие тоже желают иметь свидание. А затем, я и сам... Я должен разговеться, как принято...

— Не проси, мама!.. До свидания... Когда придешь?..

— В среду обещали... Ну, будь здоров!.. Теперь буду хлопотать о поруках... Прощай! Христос с тобой...

— Кто дал, мама, денег?..

— Догадайся!..

— Свидание кончилось... Прошу вас, мадам...

— Иду, иду...

— Калерия!..

— Кто, мама?..

— Пожалуйте в камеру!..

...Калерия... Калерия... Меня выкупает Калерия... Как же это?.. Это невозможно!.. Я не могу так... Я не хочу так...

В голове кружились мысли, как опадающие листья под осенним ветром; я шел, пошатываясь и спотыкаясь, словно пьяный... Лицо мое горело от стыда, а руки тряслись, как у преступника, только что выбросившего обагренный кровью нож...

Так вот он, этот странный вещий сон в пасхальную ночь!.. Белая голубка и черный коршун... Нет, я боюсь свободы, которую мне приносит эта черная птица...

— Что мне делать, что мне делать?.. Господи, что мне делать?..

XXXIII

В каком-то кошмаре прошли первые три дня Пасхи. Безостановочно трезвонили колокола, в ушах гудел беспрерывный звон, болела голова от вихря дум, от напряженного искания выхода из так зловеще складывающихся случайностей. Сердце то стучало тревожно, то словно переставало биться, и холодный пот появлялся на лбу. Я ходил по камере, ходил до полного изнеможения, валился в постель, сжимал подушку и шептал:

— Не знаю, ничего не знаю... Надо вам обеим сказать всю правду... Тебя, Зоя, я люблю, безумно люблю, а тебя, Калерия, я ненавижу... Тебе, Зоя, я не могу отдать чистоты, потому что я отдал ее Калерии, а ты, Калерия, не думай, что, выкупив меня за три тысячи из каменной клетки, ты купишь и вернешь прошлое: оно невозвратно, и ни за какие миллионы ты не вернешь его. Пред тобой, Зоя, я глубоко виноват; если можешь, прости и люби; если не можешь — прощай, мне больше нечего ждать и незачем жить... А ты, Калерия, ты... должна упасть на колени перед чистой белой девушкой и сказать, что ты отняла мою чистоту, да, отняла...

По ночам меня мучили сны, то зловещие, то грубо чувственные: в этих снах являлась то белая, то черная женщина, иногда одна превращалась в другую, и когда я склонялся над плачущей девушкой с золотыми волосами, чтобы утешить ее, я пугался от неожиданного превращения: вместо слез раздавался хохот, вместо золотых волос на меня падали волны черных, как поверхность расколотого куска черной смолы, вместо грустных синих глаз бесстыдно сверкали чувственным пламенем черные...

— Что же делать?.. Мне кажется, что я схожу с ума. Калерии я могу сказать в лицо все, что хочу сказать, но Зое... Как я скажу Зое, что я уже познал женщину и что этой женщиной была та, которая меня выкупила из тюрьмы?.. Нет сил сказать...

— Трус, презренный трус!.. Зоя не боялась смерти, а вот ты, трус, боишься даже рассказать о том, чего ты не имеешь права скрыть от любимой девушки...

— Скажу, скажу, все скажу!.. Делайте со мной что хотите... Мама, если бы ты могла быть другом своего сына... Но ты не поймешь... Ты — родная и чужая... Мама, погоди вносить деньги: я боюсь этих денег... Сейчас я напишу тебе.

«Милая, хорошая мама! Погоди вносить за меня деньги Калерии. Сперва я должен написать ей письмо и подождать ответа. Быть может, я еще не захочу воспользоваться добротой Калерии. В среду, при свидании, я объясню тебе подробнее, а пока умоляю, требую, чтобы ты не выкупала меня на эти деньги. Геннадий».

Не успеет мама получить этого письма: сегодня — вторник... Надо послать телеграмму...

«Мама, требую не брать меня на поруки, завтра переговорим. Геннадий».

— Что вы стучите? Чего надо?

— Мне необходимо послать телеграмму матери. Немедленно!

— Смотрителя нет, а без него — нельзя.

— Пошлите в жандармское. Немедленно!

Надзиратель прочитал телеграмму и позевнул:

— Ладно... Только едва ли...

— Чего «едва ли»? Немедленно!

— Время праздничное, навряд полковник будет дома сидеть.

— Это не ваше дело!

— Да вы не кричите! Захочу, так и вовсе не пошлю. Никакой тут экстренности нет: никто не помирает. Стало быть, и полежать до завтра может...

— А если помирает?

Надзиратель повернулся и ушел.

— Вы ответите!

Молчание... Только лязгает железо, запирающее мою камеру... Злоба, бессильная злоба клокочет в груди, и нет ей выхода. В диком исступлении я схватываю со стола железный ковш и начинаю им бить в окне стекла. С жалобным звоном летят на пол стеклянные осколки, и этот звон еще

более усиливает мое неистовство: я бью стекла второй рамы и кричу:

— Вот вам! вот! вот!..

Свежий воздух полился холодными волнами в камеру, освежил мою голову, и я опомнился. Выбросил на пол ковш и, сев на кровать, в нервном истощении опустил руки и голову.

— Что такое?..

— Ничего... Рамы выставил... Весна, давно пора выставить, а вы...

— Что же это за безобразие!.. Жалко, смотрителя с помощником нет...

— Я требую прокурора...

— В карцер можно и без прокурора... Вот завтра доложу смотрителю...

— Сегодня, а не завтра... Я требую!..

— Вот и спите да мерзните... Сегодня вставлять некому, а переводить в другую камеру без смотрителя мы не имеем права... А если продолжать будете, то и связать инструкция дозволяет...

— Инструкция... Какая инструкция?.. Гм!.. Смешное слово...

— Вам все смешно... Погодите, не пришлось бы поплакать... Безобразие!

— Да, скверно... Окно не виновато... Идите!.. Не буду... Извините великодушно...

— Извините... Нет уж, пускай смотритель как знает, а я извинять не имею права...

— Ну, наплевать... Уходите с Богом!

Надзиратель крикнул стражника, тот привел Флегонта. Убрали все стекла, очистили рамы, испробовали крепость решетки, отобрали все твердое и острое, даже ручку с пером, и ушли... Смешно: они боятся, как бы я не покончил с собой... Нашли дурака!.. Я жить хочу, страстно, ненасытно хочу жить, а они...

После сильного нервного возбуждения наступил полный упадок сил. Я с трудом таскал по камере ноги и не мог сжать пальцев в кулак. Растерянная улыбка не сходила с моего лица, дергались губы и веко левого глаза. Пробовал говорить с собою и удивлялся своему голосу: слабый, глухой, не мой голос... Смешно и странно слышать... Валялся в кровати и думал, почему это не звонят в колокола. Словно я разбил не стекла окна, а все колокола в городе. Посмотрел в окно и тут только увидел, что уже стемнело. Как это так незаметно подкралась ночь, такая тихая и ласковая, кроткая и печальная ночь?.. Где-то играет оркестр духовой военной музыки... То тихо, почти не слыхать, то громко, совсем близко. Не поймешь, где. Может быть, в том саду, где мы впервые увидали и полюбили друг друга. Да, конечно там: когда ветер с той стороны затреплет на голове волосы, музыка заиграет громко, всем хором инструментов, а когда ветерок затихает — слышны только басы, барабан, кларнеты. Что там играют такое знакомое-знакомое, от чего щемит сердце? Вальс, грустный вальс. Где и когда я слышал? Почему радостно и тоскливо от этого вальса?..

— Тра-ра-рам, та-та, тарам-та-та-та...

Ах да!.. Вспомнил: это тот самый вальс, под который я мучился ревностью на вечеринке, глядя на танцующую с распорядителем гордую Зою... Какой милый, родной вальс!..

— Тарам-та-та, та-та, тарам-та-та-а-та-та, та-а-а-а-та...

Боже, как это было давно!.. Кажется, что с тех пор прошло больше года, а ведь это было всего четыре месяца тому назад... Сколько утекло воды за эти четыре месяца... Опустил голову на руки и, в приятном полузабытье, слушаю то рождающиеся, то умирающие звуки военного оркестра. Грезится что-то далекое, милое, прошлое, успокаивающее, баюкающее душу лаской... Вот заиграли опять... Что-то заунывное и задушевное... «Лучинушку!»

— Лучи-на, моя лучи-и-нушка да березо-о-овая, ах, что же ты...

Хочется плакать от непонятной грусти о чем-то потерянном. О чем? Не знаю. Не все ли равно, о чем!.. Холодный ветерок льется на голову, на спину, на руки... Немного холодно, но хорошо. Точно купаешься в Волге в жаркий летний день... Ах, как хорошо на Волге в жаркий летний день! Солнце припекает, как огнем, песок на берегу — горячий, словно нагретый в печке, а вода прохладная. Полежишь голый на горячем песке, а потом — кувырк в воду: сперва дух захватит от резкой перемены, а потом ничего... Только покрякиваешь от удовольствия... А потом прозябнешь, вылезешь — и бух в горячий песок, как в печку! И теперь мне то жарко, то холодно, словно купаюсь в Волге и в ее песках. Что это: музыка или только кажется?.. Нет, музыка смолкла, это в ушах осталось впечатление от музыки и от колокольного трезвона... Как странно: словно вылетевшие из оркестра обрывки музыки все еще летают над спящим городом и не находят себе пристанища... А все-таки холодно. Дрожь в теле. А в висках точно бьют стеклянными молоточками, похоже на часы.

Неужели уже светает? Да, вон там бледнеет и зеленеет небо, потухают звезды. На городской башне мелодично бьют часы. Сколько? Три... Неужели я пролежал на руках за столом с десяти до

трех?.. Озяб, надо лечь и хорошенько укрыться с головой. Можно сверху — шубой...

— Ну-ка, милая шуба, выручай: кажется, схватил лихорадку...

Я улегся, не раздеваясь, укрылся одеялом и шубой, поджал ноги и застучал, как голодный волк, зубами...

— Брр!.. Холодно. Ужасно холодно! Надо — с головой... И жарко, и холодно.

Странно: в ушах все еще звучит грустный вальс...

— Трам-та-та-та, та-тааа... Зоя, идем танцевать вальс!.. Идем, милая!..

...Удивительно: даже ночью не перестают трезвонить в колокола...

Душно и жарко. На кой черт вы накрыли меня шубой!.. Черти полосатые!.. К черту шубу!.. Жара смертельная, а они меня еще шубой... Не имеете права. Я потребую прокурора...

— Мама, не вели им покрывать меня шубой... Жарко...

— Тарам-та-та, та-та, тарам-та-та-там-та-ааа...

XXXIV

— Вставайте! Собирайте вещи!..

— Куда? Не хочу... Я хочу спать... Убирайтесь от меня.

— Вас матушка в конторе ждут...

— Мама?.. Ах да... Мама!.. Я сейчас... У меня ужасно болит голова...

— Собирайте вещи... Флегонт! Собери им вещи...

— Зачем вещи? Это мои вещи...

— На волю, на поруки вас к матушке... Поздравляю...

— На волю?.. Ну что ж...

— А вы поскорее!.. Это можно бросить?

— Что это?

— Орех в сахаре...

— Нет, нет!.. Отдайте его... Это моя тайна...

— Вещи, ваше благородие, готовы.

— Неси в контору... Пожалуйте! Сюда, сюда!.. Что с вами?..

— Очень болит голова... Сегодня очень холодно?

— Нет, тепло...

— Странно. Вы говорите, на волю?..

— Да. Сюда, в контору...

— Мама!

— Геня! Ты — свободен... Я так рада, милый!.. Скорее уедем из этого проклятого дома... Что с тобой?.. Ты в жару...

— У меня лихорадка, мама...

— Да на тебе нет лица!.. Что с тобой здесь сделали!..

— Ничего, мама... Погоди, я что-то хотел спросить тебя... Забыл. Очень важное что-то... Ах, да!.. Не вноси покуда денег Калерии...

— Да ты что, голубчик, бредишь, что ли?.. Я внесла уже и поэтому только тебя выпускают на волю...

— Я сперва должен видеть Калерию...

— Калерию? Вот тебе раз!.. Калерия за границей. Зачем тебе понадобилась Калерия?..

— Не знаю, мама... Ничего не знаю... Делайте, как хотите. Мне ужасно хочется спать, мама...

— Ты болен... Ах, Господи!.. Что же это такое...

— Вещи, сударыня, на извозчике...

— Ну, уйдем скорее!.. Застегнись хорошенько!..

— Распишитесь в получении сына.

Мы уселись на извозчика и поехали. Звонко трещала пролетка, покачивалась на рессорах, и катилась все вперед, а я сидел, прислонясь к матери с закрытыми глазами, и мне казалось, что мы едем назад... Я раскрывал глаза и изумленно смотрел на необычайное зрелище шумливого, торопящегося города... Смотрел, но не испытывал никакой радости, а только одно изумление.

— Ах, мама, как мне хочется спать!.. Скоро ли мы приедем, и куда ты везешь меня?

— На пароход.

— Разве уже ходят пароходы?

— Да, сегодня — первый пароход... У тебя лихорадка...

— Ничего... Как приедем на пароход, я лягу в каюте спать и просплю до самой Самары... Ах, как хочется, мама, спать!..

— Надо бы к доктору, да опоздаем на пароход.

— Не надо. Пройдет, мама... Заедем на телеграф: я дам телеграмму Зое, она приедет в Симбирск... и там мы обвенчаемся...

— Решили отложить до осени: твоя невеста должна сперва хорошенько поправиться, да и ты сам... Жених!.. Краше в гроб кладут...

— Кто решил?.. Как смели решать без нас?

— Мы с отцом твоей невесты решили...

— Не ваше дело!.. Стой, извозчик! Я — сию минуту, только дам телеграмму...

— Застегнись! Ах, какое мученье!.. Загорелось жениться...

«Христос воскресе, Зоя. Я свободен, выезжай Симбирск. Геннадий».

— Готово! Едем!..

— Полковник сказал, что ваше дело кончится к осени... И тебя могут посадить еще месяцев на семь досиживать...

— Ну!

— Ну... А ты — жениться...

— А я — жениться... До осени еще пять месяцев... Оставь, мама, эти разговоры, у меня и так болит голова...

— И телеграмма не успеет дойти. Вечером мы будем в Симбирске, а...

— В Симбирске мы останемся и подождем... Я должен видеть Зою...

— Успеешь...

— Нет, не успею... Дайте, наконец, нам свободу и возможность распорядиться самими собой... Довольно с нас одной тюрьмы...

— Застегнитесь же, ради Бога, на все пуговицы!

— Не желаю. Мне жарко.

— Уступили за две тысячи...

— Не понимаю...

— Торговалась с полковником, как на базаре. Две тысячи внесла, а третью надо послать Калерии...

— Ах да... Калерии... Не говори мне ничего про Калерию...

— Она теперь не такая... Она исправилась...

— Не мое дело...

— Она опять сошлась с мужем... У ней ребенок родился...

— Какое мне дело! Пускай родился... Мне это вовсе не интересно.

— Ухаживал, чуть с ума не сходил, а теперь не интересно...

— Никогда не напоминай мне об этом.

— Эх, ты!.. Неблагодарные вы... Она приняла в тебе такое участие, а ты... Три тысячи не бараний рог... Не всякий согласился бы...

— Перестань, ради Бога!.. Иначе я соскочу с извозчика и... вернусь в тюрьму...

— Конечно, она легкомысленная женщина, а все-таки добрая и отзывчивая.

— Тпру!..

— Матрос! Прими вещи...

— Какой пароход?

— «Гоголь».

Гудят свистки пароходов, развеваются на мачтах флаги, клубится из труб черный дым, скрипят сходни, поют грузчики, волоча по сходням что-то тяжелое:

Аа-ах, ней-дет, да вот пойдет!
Аа-ах, ней-дет, да вот пойдет!

А там, за пароходами, блестит свободная, широко разлившаяся река, а вдали синеют еще голые горы с пятнами ярко-белого снега в ложбинах и оврагах. Клочки порванной зимней одежды гор... Поплескивает тяжелая мутная еще вода в борт парохода и звенит, словно пароход — стеклянный. Пассажиры нарядные, словно вместе с пароходом их всех заново отремонтировали и выкрасили в яркие цвета. Говор, крики, пение грузчиков, грохот от бросаемых в люк товаров, французский лепет дам на балконе и русская ругань на палубе...

Стою на пароходе, смотрю на широкий простор водяной равнины, на синеватый контур далеких гор и потихоньку бунчу:

Выдь на Волгу! Чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется...

А в душу радостной волной льется свобода, и хочется, простерши вперед руки, закричать:

— Здравствуй, матушка Волга, родимая река!.. Привет тебе, раздольная!..

— Я опять свободен, и любим я, матушка-Волга!!!

Кричать неудобно. Я снял шляпу и широким жестом руки махнул сверкающим на солнце водяным равнинам.

Хорошо! А озноб опять начинает ломать кости. Холодно, хочется потягиваться, погреться около горячей трубы... Вот как только отвалит пароход от пристани, пойду в каюту, лягу под шубу, закроюсь с головой и, поджав ноги, буду спать, спать, спать...

Загудел и задрожал пароход, шевельнулись колеса, и зашумела внизу вода.

— Отдай носовую!

— Есть!

Поплыла мимо конторка с провожающими, замелькали в воздухе платки и зонтики, задвигались баржи, пароходы, мачты, показалась Казань с

белым кремлем, с золотыми куполами собора, с красной высокой башней Сумбеки...

— Прощай, Казань!..

— Застегнись ты, ради Бога!..

— Иду, мама... У меня опять лихорадка...

— Иди пить чай...

— Нет, ты пей, а я лягу и буду спать, долго буду спать... До самого Симбирска... Спать и спать... больше мне ничего не надо...

— Ты кашляешь...

— Ничего... пройдет... Не беспокойся, старенькая... Я пойду... Что ты смотришь так беспокойно?

XXXV

...Какой жаркий день. Словно в жарко натопленной печке. Зачем вы меня закрываете? Не надо. Вот я полежу еще на горячем песке и буду снова купаться... Ты, мама, не бойся, я не утону. Я отлично плаваю по-саженному... Пустите же, не держите меня!..

...Я требую выставить рамы: вы не имеете права закрывать форточку. На улице весна, а вы скрываете от меня и говорите, что — зима. На прогулку я не пойду и обедать не буду. Не хочу я пить! Чего вы суете мне в рот? Убирайтесь от меня! Зачем вы кладете камень на голову? Не имеете никакого права...

...Мама, кто это в белом? Прокурор? Доктор... Не верь, он притворяется доктором. Скажи, что это — не я... Тише, опрокинешь лодку! Гребите, братцы, ровнее. Касьянов! Запевай «Вниз по матушке по Волге!»

...Ах, Зоя... ты совсем не умеешь перестукиваться. Ну, я слушаю... Не понимаю. Зачем тебе подвенечное платье? Оставь нас, мама!.. Это не твое дело. Ну, вот и перевернулись... Я весь мокрый... С ног до головы...

— Это хорошо.

Кто это говорит, что «хорошо»... Дурак какой!.. Дурак, брат, ты, Касьянов. Что вы со мной делаете?..

— Ничего, ничего... Оборотите хорошенько голову. Дайте ему ложку портвейну...

Вкусное вино... Налей, Касьянов, как следует... Оно горячее... Смешно...

— Калерия!.. У тебя горячие глаза... Как угли, раскаленные черным огнем. Уйди!.. Не люблю... Не жми мне руку... Не садись ко мне на кровать!.. Ах, это ты, мама... Я хочу спать. Разбуди, когда будем подходить к Симбирску... Ночь или день?..

— Ночь... уже девятая ночь...

— Когда же Симбирск?.. Я еще успею уснуть?.. О чем ты все вздыхаешь? Мне очень хорошо... Я скоро выздоровею...

Раскрываю глаза, смотрю на потолок, обвожу взором стены и удивляюсь. Незнакомая комната, белая с голубым; раскрытое окно, большое, светлое окно; в окно смотрит голубое небо, видны верхушки зеленых берез... Поют птицы за окном, и кудахчет курица... Странно! Что такое со мной случилось? Где я и как сюда попал? Серое, не мое одеяло... И ноги точно не мои: длинные-длинные. Где-то медленно выбивают маятником часы...

— Ты проснулся...

— Мама!.. мама!.. Ты...

— Не говори, доктор не велел разговаривать...

Доктор?.. Да, да, да... Вспомнил: ведь я болен, в больнице...

— Славу Богу!.. Слава Богу!..

— Мама... Где мы?.. В Симбирске?

— Да.

— Приехала Зоя?..

— Не говори же... Спи больше.

— Я не хочу спать... Скажи про Зою!..

— Она здесь, в Симбирске.

— Позови ее ко мне...

— Доктор не велит...

— А я хочу...

— Ты плачешь... Ах ты, Господи!.. Вредно волноваться, а ты...

— Пришли ко мне Зою!

— Ну, спросим доктора: он велел подождать. Может быть, разрешит.

— Попроси его... Ей-богу, я скорей выздоровею!.. Даю вам слово...

— Вот наказание!.. Я пожалуюсь, если будешь разговаривать...

Я уткнулся в подушку и тихо плакал, как обиженный маленький мальчик. И чувствовал я себя как маленький мальчик: сердился на маму и хотел назло ей умереть. А когда растворилась дверь и гулко прозвучал строгий голос доктора, обходящего всех больных в сопровождении фельдшерицы, я испугался и притих, притворился спящим и боялся, что мать будет на меня жаловаться доктору.

— Ну-с, молодой человек, как наши дела?..

— Капризничает он...

— Оставь, мама!

— Требует невесту...

— Эге!.. Вон он чего захотел. Это хороший признак. Ну-ка, жених, сядьте, я послушаю... Температура?

— 36,7.

— Отлично. Повернитесь, жених, спиной!.. Вот так.

— Время ли теперь думать о женитьбе...

— Да-с, придется еще полежать... А, пожалуй, и того... На юге пожить... Дышите глубже! Еще!.. Хорошо, в общем хорошо. А жениться все-таки рано. Это, молодой человек, всегда успеется.

— Я прошу, доктор, не жениться, а только дать мне свидание с невестой.

— Денька через три-четыре... и то при одном условии... на приличном расстоянии... Смотреть друг на друга можно, а приближаться — никоим образом...

— Через два дня... А раньше?

— Я сказал, не через два, а через три-четыре. А впрочем, завтра увидим. Главное — не волноваться...

— Если не пустите, я буду волноваться гораздо больше, доктор. Нельзя ли завтра!.. Ну, хотя послезавтра!.. Мы не видались целую вечность.

Утро вечера мудренее... Завтра увидим, а не увидим, так посмотрим.

Доктор пошел прочь, мать — за ним. О чем-то они тихо разговаривали в дверях, а я лежал и улыбался во весь рот: скоро увижу, наконец, мою Зойку, мою прекрасную любимую Зойку... Какая она стала?.. Господи, как я счастлив!

— Мама, что сказал доктор? Можно завтра? да?

— Можно завтра... А потом советует пожить в Крыму до осени...

— Ура... О чем же ты грустишь и вздыхаешь?.. Все идет прекрасно...

— В Крым надо... Напрасно я отправила тысячу назад, Калерии...

— Мы обвенчаемся и вместе поедем в Крым... Господи, как это великолепно!..

— Лежи, не вскакивай на постели! Нельзя.

— А какой теперь месяц?

— Завтра — первое мая...

— Неужели — май? Не может быть!

— Май. Лежи же, Христа ради...

— Лежу, лежу... Все лежи да лежи... Надоело уж...

— Скажи, слава Богу, что жив остался... Думали, не встанешь совсем.

— Глупо, значит, думали... Зоя где остановилась?

— Молчи!

— Не замолчу. Скажи, где!

— У родных.

— Приходила она сюда?

— Каждый день заходит. И сегодня прибегала уж...

— Милая... милая... Она боялась, что я умру...

— Вместе ревели в приемной... Она ничего девушка, нравится мне...

— Вот видишь!.. А ты... Она удивительная... Такой больше нет на свете!..

— Перестанешь ты болтать или мне к доктору идти и пожаловаться?

— Молчу, молчу, мама... А смеяться можно... Это не вредно, а напротив...

— Потихоньку смейся...

Лежу и смеюсь. Не знаю, чему смеюсь... Все смешно: и рука у меня смешная, и ноги очень длинные, как у покойника, и прическа у мамы смешная... И фельдшерица курносая — нельзя смотреть на нее без смеха...

— Ну, будет уж!.. Посмеялся — и довольно...

— Это невозможно... Ей-богу!.. Уморительно!.. А какой сегодня день?

— Ей-богу, я сейчас пойду к доктору...

— Молчу, молчу, мамочка... Ябеда ты какая... Сутяга!..

— Кушайте!

— Опять — манная каша!.. С первого дня началась эта каша...

— Не капризничай!

— Когда же дадут курицу?

— На обед.

А все-таки вкусная каша, душистая. А посреди — лужица из растопившегося желтого масла. Даже слюнки потекли.

— А ложку!.. Забыли ложку!..

— Извините, сейчас подам...

Смешная, курносая... Похожа немного на Веру Игнатович. Где-то теперь Вера и Касьянов?.. Живо съел кашу, выскоблил дочиста тарелку, а есть все хочется.

— Вот вам молоко.

— Весьма и очень, сестрица милосердная, признателен...

— Я не сестра, а фельдшерица...

— Ну, все равно.

— Все равно, да не одно.

Поел, попросил зеркало и стал смотреть на себя: худущий, глаза ввалились... Ба, усы как выросли! Не ожидал.

— Мама, посмотри, как у меня выросли усы... Можно закрутить...

— Еще бы: жених!

— Не затворяй окна!

— Не дует?

— Нисколько. Должно быть, там сад. Как весело распевают птицы...

— Молчи и слушай.

Симбирск... Я в Симбирске. Как-то чувствуется другой город. Я очень люблю Симбирск. Он на высоких зеленых горах, тихий такой, ленивый, очень похож на старосветского помещика. А главное, это — Зоин город, и теперь в этом городе Зоя. Это чувствуется, что она теперь в этом городе. Ах, скорей, скорей, беги, время, и приближай меня к Зое! Я так соскучился по ней, так соскучился, что готов соскочить с кровати и помчаться разыскивать ее. Как вспомню, что завтра или послезавтра увижу Зою, обольется сердце кровью и хочется хохотать во все горло, хохотать, хохотать и болтать ногами... Воображаю, как в эту дверь войдет девушка в белом платье и вскрикнет от радости... Лучше, если бы в этот момент мы были одни...

— Мама, когда придет Зоя, ты нас оставишь ненадолго одних?

— Надо спросить доктора...

— У тебя — все доктор!.. Шагу не ступишь без доктора. Неужели ты не понимаешь, что...

— Пожалуйста, доктор велел издали.

— Нам надо поговорить о многом наедине.

— Скажите, пожалуйста!..

— Красива она? Правда?

— Худущая, как и ты...

— А какие у ней чудные волосы!

— Что-то уж больно много их... Свои ли у ней волосы?

— Ну, вечно с подозрениями... Ничему хорошему не желаете верить.

— Теперь так фокусничают девицы, что не узнаешь.

— У ней толстые косы, золотые...

— А ты взвешивал?

— Да, взвешивал.

— Теперь она в прическе.

— В прическе!..

— Целая копна на голове.

Зоя в прическе!.. Это смешно, ужасно смешно... Интересно, как она выглядит в прическе. Милая!.. Целая копна волос...

— Узлом, мама?

— Чего узлом?

— Да волосы-то!.. Бестолковая какая...

— Узлом, узлом... Теперь у всех узлом.

— Это очень красиво!

— А мне не нравится...

— Ты ничего не понимаешь.

— У меня были волосы до колен.

— Мало ли что было... А теперь вылезли.

— С вами вылезут... Погоди вот, женитесь, пойдут дети — и твоя Зоя начнет... и зубы станут болеть, и волосы вылезать...

— У нас не скоро будут дети. Мы... понимаешь, мы решили лет пять жить, как... ну, понимаешь... как брат с сестрой. Дети мешают общественной деятельности...

— А ну вас... не болтай пустяков!

— Потрудитесь вставить термометр!

— Опять термометр?

— Да, пора уж...

— Надоел ваш термометр...

— Ставь, ставь!..

Поставил под мышку термометр, лежу, смотрю в потолок и рисую себе Зою в прическе... Гм!.. смешно...

— Сколько?

— 37,2.

— Ну вот, оболтался... Повысилась...

— Больше не буду... Это пустяки...

Я притих. Убедился, что болтать вредно, и стал бояться, как бы повышение температуры не отдалило нашего свидания с Зоей. Сделался кротким и послушным. Опять стал смотреться в зеркало, находил, что худоба меня не испортила, а совсем напротив, еще более сделала похожим на какого-то писателя. Гм!.. «Что ни говори, а в моей физиономии есть что-то писательское»... Так и уснул с зеркальцем в руке.

Продолжение следует.